

Соллогуб Владимир Александрович

Метель

Владимир Александрович Соллогуб

МЕТЕЛЬ

[Пушкин написал повесть под заглавием "Метель". Я не посмел изменить принятого им правописания. (Прим, авт.)]

Графу П. В. Орлову-Денисову

Снег падал густыми хлопьями. По саратовской дороге медленно тащилась кибитка, запряженная тремя изнуренными лошадьми. Кругом расстилалась снежная равнина, раскидывалась белая степь. Резкий ветер гулял на просторе. Было холодно, грустно и мрачно.

В кибитке лежал закутанный в медвежью шубу молодой гвардейский офицер и думал себе от скуки крепкую думу. Он думал о Петербурге, куда спешил на свадьбу к брату; он думал об этом вечно взволнованном, неугомонном Петербурге, который поглотил лучшие годы его молодости и не отдал ему взамен ни светлым покоем, ни радужным воспоминаньем. Он мысленно перебирал свое молодое прошедшее, свои нежные похождения, свое желание любить, свою досаду на вечно обманутые ожидания. В душе его протянулась целая вереница стройных девушек, молодых, прекрасных и нарядных женщин. Все мимоходом кидают ему приветливый взгляд, светскую улыбку, заманчивое слово - и нет тут ничего мудреного: он потомок древнего прославленного рода, он владетель обширного, доходного имения, он богат и молод, проворен и хорош, да и вдобавок танцует с ожесточенной ловкостью - ему почет и место; его и матушки зовут обедать; отцы семейств бегают к нему с визитами; дочери скромно выбирают его в мазурке - он у всех на примете; светские красавицы приглашают его в свою ложу в театр, в свою гостиную на приятельские вечера, где курится столько пахитосов и говорится столько вздора; иные даже усердно заманивали его в свои сети, другие даже явно враждовали из-за него. Чего бы, кажется, желать ему еще более? Его ли участь не завидна?

Его ли самолюбие не удовлетворено? Зачем же какое-то тяжелое, неприязненное чувство свинцовым грузом ложится ему на сердце? Затем, что из этого вихря тревоги и тщеславия он не вынес ни одного отрадного чувства, которое теплилось, как бы лампада, в его отуманенной светом жизни; затем, что он хорошо понимал, что не к нему, а к его случайным отличиям устремлялись и взгляды невест и вздохи присяжных красавиц. Он разглядывал странные особенности рветской жизни, где страсть еще подчас доступна, но где нет и не может быть приюта той глубокой, беспредельной любви без расчета и развлечений, которая дается немногим, но зато вечно светится, вечно греет и сопутствует до могилы.

Вдруг кибитка остановилась.

- Что это, - закричал офицер, - ты, брат, так едешь, что ни на что не похоже! Ни гроша не дам на водку.

Ямщик слез с облучка, похлопал окоченевшими руками и нагнулся к земле, как будто отыскивая что-то.

- Хороша водка! - бормотал ямщик сквозь зубы. - Вот те и водка, прости господи, с дороги никак сбились.

- Да что ты, слепой, что ли? - спросил с нетерпением офицер.

- Слепой, - бормотал ямщик, - слепой. Вишь, барин каков!.. Вот те и слепой... Небось, слепым не бывал.

Вишь, погодка-то какая!.. Прости господи! Метель поднялась...

- Так что ж, что метель?

- Что ж, что метель!.. А вот погляди-ка, барин... Не дай, господи... Вот те и метель... Ах ты, господи, господи! Что станешь делать? Грех какой! Гляди, какая поднялась.

Офицер выглянул из кибитки и ужаснулся.

Кто не ездил зимой по нашим степям, тот не может составить себе никакого понятия о степной метели. Сперва валит снег, и ветер порывисто сыплет им во все стороны, не зная отпора и преграды. Земля, как скованное море, покрытое беспредельною, хрупкою скатертью, резко отделяется от черного неба, нависшего над ней другой сплошною, черною степью. Ни птица не пролетит, ни заяц не промелькнет: все безлюдно, мертво, дико, беспредельно и полно суровой таинственности. Один голос начинающейся бури раздается свободно по плоскому пространству и плачет, и воет, и ревет страшными, одной степи известными голосами. Вдруг вся природа содрогается. Летит метель на крыльях вихря. Начинается что-то непонятное, чудное, невыразимое. Земля ли в судорогах рвется к небу, небо ли рушится на землю; но все вдруг смешивается, вертится, сливается в адский хаос. Глыбы снега, как исполинские саваны, поднимаются, шатаются, кверху и, клубясь с страшным гулом, борются между собой, падают, кувыркаются, рассыпаются и снова поднимаются еще больше, еще страшнее. Кругом ни дороги, ни следа. Метель со всех сторон. Тут ее царство, тут ее разгул, тут ее дикое веселье. Беда тому, кто попался ей в руки: она замучит его, завертит, засыплет снегом да насмеется вдоволь, а иной раз так и живого не отпустит.

Нечего сказать, из петербургского раздушенного, разряженного, блестящего мира вдруг попасть на такой фантастический праздник подгулявшей степной зимы - противоположность слишком резкая. Офицер призадумался и стал озираться с беспокойством. Бальные видения, красавицы и мечты исчезли мгновенно. Дело становилось плохо.

- Не остановиться ли нам? - сказал он нерешительно.

- Остановиться, - шептал ямщик, - как не остановиться? Еще бы не остановиться! Да чтоб хуже не было.

- Как хуже?

- Известно, как хуже: занесет, пожалуй, совсем, а там поминай как звали. Да стужа проймет... Ишь, грех какой! Замерзнешь совсем.

- Ну так ступай же, - закричал офицер, - ступай!

- Да куда я поеду? Вишь, буран какой, зги божьей не видать!

Метель все более и более усиливалась. Положение путников становилось действительно опасно. Кибитка тащилась наудачу по сугробам. Лошади увязали в подвижных снежных лавинах и, тяжело фыркая, едва передвигали ноги; рядом с ними шел ямщик, разговаривая сам с собою. Офицер молчал. Так прошло часа два самых мучительных; метель не утихала. Кибитка все глубже врезалась в навалившийся снег. Офицер уже чувствовал, что резкий

мороз обхватывал члены его; мысли его смешивались. Тихая дремота, полная какой-то особой, дикой неги, начинала клонить его к тихому сну, только вечному, непробудному...

Вдруг вдали мелькнул огонек. Ямщик снял шапку и перекрестился.

- Ну, счастье твое, барин: никак жилье недалеко, не то и кости могли бы здесь оставить.

Почуя близкое спасенье, лошади подняли морды, принатужились и повезли бодрее. Путники ехали целиком по направлению спасительного маяка. О дороге и думать было нечего. Через несколько времени они подъехали к небольшой избушке, нагнутой наоок и как будто забытой в степи откочевавшим селением. Небольшой сгнивший сарай с развалившейся крышей и страшно занесенный снегом печально примыкал к этому бедному жилищу с двумя маленькими окнами, из которых светился огонек.

- Станция! - сказал ямщик и бросил поводья.

На крыльцо выбежал смотритель, помог офицеру выкарабкаться из кибитки, ввел его в комнату и, прочитав дорожную, застегнул сюртук на все пуговицы. В маленькой и душной комнате пар стоял столбом, в парном тумане сверкал самовар и темно обрисовывались туловища, красные лица и бороды трех купцов, вероятно, тоже застигнутых метелью.

Старший из них приветствовал приезжего.

- Никак нашей семьи прибыло. С дороги, ваше благородие, и погреться бы не худо. Просим покорнейше с нашим почтением, коли не побрезгуете с купцами. Смеем просить чайком.

Офицер с радостью принял радушное приглашение и уселся с новыми знакомыми.

Речь завязалась, разумеется, о погоде, о метелях вообще и в частности, о рыбной торговле и проч.

Офицер участвовал, сколько мог, в разговоре, но потом мало-помалу соскучился и начал рассматривать комнатку. Слева от двери громоздилась огромная русская печь с лежанкой, за ней стояла двухспальная кровать с периной и подушками и покрытая заслуженным одеялом, сшитым из разных ситцевых лоскутков: между окон находился диванчик, на котором сидели купцы. С другой стороны красовалась еще кровать, но больше, кажется, для вида, сколоченная из трех досок и покрытая войлоком.

Рядом стоял стул. Большой сундук и кукушка с неугомонным маятником довершали убранство жилища станционного смотрителя. На брусчатых стенах были наклеены предписания почтового ведомства и бегали взапуски с редкой отвагой, расправляя усы, разные насекомые, много известные русскому народу. В окна стучалась, завывая, метель. Вдруг что-то шаркнуло у крыльца. За дверью раздался младенческий писк, женский говор и здоровый голос мужчины. Смотритель снова засуетился.

Дверь распахнулась, и в комнату ввалился отставной капитан с супругой, старой сестрой и маленькой дочкой.

Капитан раскланялся сперва с офицером.

- Ну уж погодка! Вы тоже изволите ехать?

- Как видите.

- Издалека?

- Издалека.

- Откуда, коль смею спросить?

- В Петербург.

- А!

- Позвольте спросить чин, имя и фамилию?

Офицер назвал себя по имени.

- Как же это вы к нам пожаловали? По службе, конечно?..

- Ну, а вы, господа, - продолжал капитан более небрежным тоном и обращаясь к купцам, - в купечестве, должно быть. С ярмарки? Понабили карманы? Пообдудили порядком нашего брата, дворянина?

Тут капитан, довольный остротой, засмеялся во все горло.

- А вот-с мы едем из деревни, от тещи. Вы не изволите ее знать? Здешняя помещица Прохвиснева... добрая старушка такая. Душ шестьдесят будет. Вообразите, как нарочно, жена говорит мне: "Не ездь, Basile, чтото дурная погода". А я, знаете, военная косточка, и говорю: "К черту, матушка! Сказали поход, так и марш!"

Что бабу слушать? Баба ведь... черт ее знает...

- Ах, Basile! - прервала, жеманясь, капитанша. - Какие вы все слова говорите, точно бог знает какой...

Тетушка княгиня Шелопаева сколько раз вам говорила, что нехорошо. Нас, право, не знаю, за кого примут, в особенности в дороге, в таком costume; я, как нарочно, не надела бархатного бурнуса; матушка говорила надень, а я и забыла. Ах, кстати: ты знаешь, та soeur [Сестра (фр.)], - продолжала она, обращаясь к сорокалетней нахмуренной спутнице, очевидно, старой деве, пропитанной уксусом всех возможных обманутых ожиданий, - знаешь ты: мне из Петербурга пишет Eudoxie, что высылает мне манто клетчатый и розовую шляпку с плюмажем? Да все, та chere [Дорогая (фр.)], зовет в Петербург. "Что же, говорит, вы обещаете, а не едете... Мы так стосковались, и тетушка княгиня Шелопаева все об вас спрашивает". - Капитанша обратилась к офицеру: - Вы, верно, тетушку мою знаете, княгиню Шелопаеву?

- Нет, я незнаком.

- Помилуйте, как же это? К ней вся знать ездит.

У ней дом открытый, высшее общество бывает. Вы, верно, о ней слыхали?

- Может быть.

- Верно. Она известная там дама.

Девочка запищала:

- Каши хочу, хочу, хочу! Хочу каши!

- Перестань, - заревел капитан, - сейчас перестань, а то высеку, право, высеку, стыдно будет, при всех высеку.

- Каши хочу! - визжала девочка.

- Перестань! - ревел капитан.

- Каши! - визжала девчонка.

Дамы бросились ее унимать и между тем охорашивались, поправляли смятые чепцы, перешпиливали платки.

Капитан уселся подле офицера и просто забросал его словами.

- Я доложу вам, - говорил он, - : сам бы, могу сказать, карьеру бы мог свою сделать, ну да уж, видно, судьба такая. Теперь, сами изволите видеть, женат, семейство, дети пошли. Ну, именишко небольшое. Жить, слава богу, есть чем, не по-столичному, разумеется, а так, как следует штаб-офицеру; соседи есть хорошие; заседатель у нас начитанный человек. Слава богу, живем себе. Ну и доволен. Ну, а вот, знаете, встретишь такого человека, так вот и поразберет маленько. Поневоле подумаешь: "Эх, брат Василий Фомич, сплошал, брат! Полковником был бы теперь и вот на шее бы имел". Ну да не повезло. Черт меня дернул в отставку подать. Случай вышел такой партикулярный. Служил я тогда, изволите видеть, в карабинерном полку. Полковой командир человек был хороший; он теперь бригадой командует; товарищи были тоже отличные. Кажется, век бы не оставил. Только, вообразите себе, однажды...

Тут капитан приостановился и начал прислушиваться.

- Кого-то еще бог дал, - сказал он.

Действительно, на дворе послышался снова лошадиный храп, завизжали подрезы, поднялась суматоха. Смотритель снова засуетился. На крыльце раздалось несколько голосов разом, смешанных с женским плачем.

У избушки остановились две повозки.

Офицер, соскучившись рассказом капитана, хотел было броситься к дверям, но вдруг остановился у порога, пораженный идущей ему навстречу группой. В комнату входила старушка помещица, дожившая, кажется, до крайних пределов жизни. Голова ее тряслась, глаза впали, лицо было изрыто морщинами. Она охала, шептала молитву и шла, то есть едва передвигала ноги, совершенно согнувшись и поддерживаемая с одной стороны человеком в нагольном тулупе, перепоясанном ремнем, с другой - молодой женщиной.

Офицер остолбенел.

Никогда с тех пор, как он начал заглядываться на женскую красоту, не встречал он подобного лица. Оно не сверкало той разительной, неучливой красотой, которая бросается вам в глаза и требует безусловного удивления. Оно просто нравилось с первого взгляда, но потом, чем более в него вглядывались, тем привлекательнее, тем милевиднее оно становилось. Черты были изумительно тонки и правильны, головка маленькая, цвет лица бледный, волосы черные, но глаза - глаза были такие, что и описать нельзя: черные, большие, с длинными ресницами, с густыми бровями; они свели бы с ума живописца. Повествователи вообще виноваты перед женскими глазами: много вздора было написано им в честь, были сравнения и с звездами, и с алмазами, и бог знает с чем. Можно вдохновенной кистью и даже тупым тяжелым пером кое-как передать их цвет и образ; но как изобразить тот потаенный огонь, который светится в них душой? Как уловить в них молнию насмешки, бурю негодования, яркий пламень страсти, бездонную глубину святого чувства? На это нет ни красок, ни слов, да и быть не может, да и быть не должно.

Она была одета просто, но щеголевато. В ее наряде отпечатывались и достаток и вкус. Усадив бережно старушку, она сняла салоп и шляпку. Гибкий стан ее обрисовался, и черная,

как смоль, коса распустилась роскошно до ног... Она слегка покраснела и, свернув косу, обвила ею голову.

Офицер молча ею любовался. В этой женщине все подробности были как-то аристократически прекрасны.

Она сняла перчатку; ручка была восхитительна и, не в укор будь сказано нашим степным дамам, редкой белизны, кроме того изобличала самую внимательную об ней заботливость. Она провела рукой по волосам, и в этом простом, самом обыкновенном женском движении проявилось вдруг столько природной, ленивой ловкости, столько грациозной небрежности, что все красавицы, исключительно занимающиеся этим предметом, могли бы побледнеть от зависти и отчаяния. Офицер не верил глазам. "Как мог, - думал он, такой чистый брильянт попасть в такую глушь, и кто она такая и откуда?" Невольно, сам не понимая, как это сделалось, он очутился подле нее и стал прислуживать.

Церемониться было нечего. В минуту общего бедствия все сближаются и роднятся. Не прошло полчаса, они были уж как бы давно знакомы. Он вытаскивал пожитки из повозки, поил старушку чаем, усаживал ее как бы получше, клал ей под ноги подушки. Капитан любезничал. Старая девушка улыбалась кисло и значительно. Племянница княгини Шелопаевой вступила с приезжими в разговор. Купцы уступили им место на диване.

На дворе метель бушевала, с ожесточением рвала ставни и разыгрывалась во все степное раздолье, но офицер о ней и не думал. С ним было несколько провизии: он предложил поделиться ею с товарищами заточения. Образовали на скорую руку ужин. Капитан вытащил замороженную индейку. Уселись около стола.

Завязался общий разговор, довольно незначительный.

Капитанша рассказывала, как будут смеяться в Петербурге у княгини Шелопаевой, когда узнают, что она, с детства привыкшая к тонкому обращению, оставалась несколько часов в крестьянской избе. При этих словах офицер невольно взглянул на свою соседку: легкая улыбка едва заметным мерцаньем пробежала по ее чертам.

Они поняли друг друга.

- А вы были в Петербурге? - спросил он.

- Нет.

- И не поедете?

- Нет.

- Отчего же?

- Я замужем.

Офицер потупил голову. "Как, зачем она замужем?"

Кто просил ее выходить замуж?" Ему стало неловко и досадно. Он продолжал:

- Отчего же вашего мужа нет с вами?

- Он в деревне; он выезжать не любит.

- Как же вы теперь?

- Он отпустил меня с бабушкой в Воронеж, на богомолье.

"Хорош вожатый!" - подумал офицер, глядя на старушку, которая что-то бессмысленно жевала.

- И вы живете всегда в деревне? - спросил он снова.

- Всегда...

- Безвыездно?

- Безвыездно.

- Помилуйте, да там скука, должно быть, страшная.

Она слегка вздохнула.

- Что ж делать, привыкнешь.

- Да как же вы время проводите?

- Да так, как обыкновенно в деревне.

- Да что ж вы делаете?

- Да почти ничего. Занимаюсь хозяйством, вышиваю, читаю.

- У вас детей нет?

- Нет.

Офицеру это было не противно, а почему - бог знает.

- Что ж вы читаете?

- Что случится. Французские книги, русские журналы...

Офицер поморщился.

- Вы люди светские, - продолжала она, улыбаясь, - не понимаете отрады чтения. Книга - это товарищ, это верный друг. Попробуйте прожить в деревне, поживите, как я, тогда поймете, что такое книга. Да без нее просто бы, кажется, можно с ума сойти. Вечера-то, знаете, длинные; деревня наша в степи; соседей нет, а если и бывают изредка, то все такие, что лучше бы их вовсе не было.

- Ваш муж охотник?

- Да, мой муж очень любит охоту. Да, впрочем, в деревне надо же иметь какое-нибудь занятие.

- А позвольте спросить: муж ваш человек молодой?

Она невольно рассмеялась.

- Нет, - сказала она, - да что о нем говорить.

Скажите-ка лучше, вы как сюда попали?

- По делам.

- Надолго?

- Нет, я спешу к брату на свадьбу.

- Вы будете шафером?

- Разумеется. Я даже очень спешу... то есть очень спешил...

- А теперь не спешите?

Офицер нежно на нее взглянул. - Теперь я вас встретил.

- Бабушка, - сказала молодая женщина, - я думаю, метель утихла, можно бы ехать...

Старушка не расслышала. Присутствующие отозвались, что прежде утра и думать было нельзя о продолжении пути, а что следовало подумать о ночном отдохновении. Наступила глухая полночь. Всех клонило уже ко сну; все более или менее поглядывали с завистью на кровать. Но в подобные минуты голос справедливости всегда торжествует. Общим приговором положено предоставить кровать слабейшим членам случайной общины, то есть старушке и девочке, которая, накричавшись вдоволь, спала уж где-то в углу. Как сказано, так и сделано. Старушку уложили. Она поохала, пошептала, покрестилась и заснула. Купцы расположились на диванчике и на лежанке и вскоре звучным дыханьем объявили, что уж перешли в невидимый мир сновидений.

Капитан расположился на сундуке. Капитанша, сестра ее и черноокая красавица легли поперек дощатой кровати. Под головы положили им подушки, к ногам придвинули скамейки. Капитанша легла с одного края, молодая женщина с другого. Между ними расположилась зрелая девушка. Офицеру оставался стул, который как будто нарочно стоял с хорошего края. Он сел. Все это происходило самым естественным образом, как будто вследствие какого-то безмолвного условия. В комнате воцарилось молчание, прерываемое только стуком маятника, дыханьем спящих и воем метели. Странное кочевье освещалось одной сальной свечкой, с которой от времени до времени неустрашимый капитан снимал решительно пальцами. Но вскоре это занятие его утомило: он свернулся кренделем и заснул взапуски с купцами. В комнате замелькал томный красноватый полусвет. Все заснули, кроме офицера, который шепотом разговаривал с своей соседкой, и старой девы, которая подслушивала их разговор с желчным любопытством.

- Я виноват перед вами, - говорил офицер, - я сказал глупость. Вы, кажется, на меня рассердились.

- Нет, я не рассердилась. Только я женщина несветская, я не привыкла к подобным любезностям. Оно забавно, может быть, с одной стороны, но, с другой, и не дурно, потому что мы не умеем играть словами и говорим только то, что чувствуем.

- Да, и я говорю то, что чувствую.

- Перестаньте, пожалуйста. К чему это? Мы с вами встретились случайно, сейчас расстанемся, никогда не увидимся - нехорошо. Я знаю, вы смеетесь над уездными дамами, и Пушкин над ними смеялся... И подлинно, есть много в них смешного, но, может быть, в то же время много и грустного. Подумайте, - продолжала она, как будто говоря сама с собой, - что такое судьба женщины молодой, знающей только по книгам, что есть хорошего в жизни? Муж ее в отъезде поле. Он, может быть, человек хороший... Да все не то: скучно в деревне... и не то что скучно, а досадно, обидно както. Все жалеют об узнике в темниц"; никто не пожалеет о женщине, с детства приговоренной к вечной ссылке, к вечному заточению. А вам весело в Петербурге?

- Весело, - сказал,, вздохнув, офицер, - да, мне там очень весело, слишком весело... Я человек светский.

Только что странно: я от излишества, вы от недостатка - мы оба дожили до одного, то есть до тяжелой скуки.

Вы жалуетесь, что в вашей одинокой ссылке вам негде развернуть души и сердца; мы же, вечно ищущие недосыгаемого, мы чувствуем, что душа и сердце подавлены в нас. Вы знаете холод одиночества, но вы, слава богу, не знаете еще холода общественной жизни. Вы знаете, что любить надо, а мы знаем, что любить некого.

В вас кипят надежда и сила, нас давит бессилие в немощь.

- Вы были влюблены? - спросила она едва внятно...

- Еще бы! Да и как! Да что в том толку... В свете идти на любовь значит идти на верный обман. Вы что думаете про любовь?

- Я!.. Так... да... нет, ничего...

- Любовь - душа вселенной; но этой душе куда как тесно в свете, и знаете ли почему? Потому, что за ней выглядывает тщеславие. Я тоже иногда думал, что меня любили, а вышло что же? Любили не меня, а бального кавалера, светского франта, и я не знал, как совладеть с своими соперниками.

- Неужели? - сказала она невольно. - Да кто ж они могли быть?

- Да мало ли их... Бальное платье, мелочная досада, глупая сплетня, завидное приглашение, маскарадный наряд и тьма подробностей, составляющих, так сказать, всю сущность светских женщин.

- Так вы не верите в любовь?

- Сохрани бог! В любовь нельзя не верить; но я говорю только, что любить-то некого. Для любви нужно столько условий, столько счастливой случайности, столько душевной свежести и неиспорченности. Но, слава богу, я чувствую, что я могу еще любить, но уж не светскую барыню. Дорого они мне дались... Я бы мог любить страстно, неограниченно и свято душу не светскую и доверчивую, которая вверила бы мне всю участь по чистому внушению, без боязни и без расчета... Если б вы, например...

- Пить хочу! - застонала на кровати старуха. Девчонка проснулась и завизжала. Офицер поспешно вскочил со стула, подал старухе стакан воды, успокоил девочку, всунул ей в рот кусок сахара и возвратился на свое место. Но возобновить начатого разговора не было возможности. Молодая женщина закрыла глаза, грациозно опустив ручку со спинки кровати; она или думала о чем-то, или засыпала...

- Вы устали? - тихо спросил офицер.

- Да, устала.

Он замолчал, сердце его сильно билось. Чудно хороша была эта женщина, чудно освещена красноватым отблеском нагоревшей свечи. Матовая бледность придавала ей столько прелести! Черты были так правильны, так тонки! В каждом ее слове выражалась такая глубокая повесть смиренных страданий! Она была так непринужденна, так проста и так сама собой, что невольно хотелось броситься к ногам ее, высказать ей сердце и пожертвовать ей жизнью. Ручка ее, беленькая, маленькая, заманчиво привлекала взоры. Офицер оглянулся:

кругом все покоилось тихим сном; на дворе только ревела метель; даже старая дева, утомленная подслушиваньем, заснула. Офицер глядел на ручку... Какая-то невидимая сила влекла, тянула его. Кровь его сильно волновалась. Он чувствовал, что влюблен так, как

никогда еще влюблен и не бывал. Разные чувства боролись в нем: и страх, и боязнь, и желание, и любовь. Наконец он не выдержал, оглянулся еще раз, тихо коснулся руки и прижал ее к губам.

Старая дева вздрогнула во сне от ненавистного звука.

Молодая женщина не пошевелилась. Офицер сидел, как приговоренный к смерти.

Прошло несколько минут тяжелого молчания.

Тихо и небрежно, как бы во сне, она вдруг начала приподнимать руку свою и движением спящего ребенка положила ее под голову. Очевидно, она спала. Вдруг она открыла глаза и сказала тихо:

- Вы женаты?..

- Я... с...

- Ах да! Вы говорили, что будете шафером на свадьбе брата, так, разумеется, не женаты... Знаете ли, - продолжала она голосом, полным тихой печали, - когда вы будете женаты... любите свою жену...

- Зачем же это?..

- Так!.. Не то бог знает какие иногда могут прийти мысли... Не надо... Любите свою жену.

- Разве можно так располагать собой?.. Ну, если б я был женат и вдруг бы встретился с вами...

- Так что ж?

- То, что я жену не любил бы более, а полюбил бы вас, потому, во что бы то ни стало... но это свыше сил моих; я покажусь вам глуп, смешон, дерзок... но я люблю вас без ума.

И глаза его разгорелись, голос дрожал... Он говорил действительно что чувствовал. Она взглянула на него с нежным, протяжным упреком и тихо покачала головой.

- Не стыдно ли вам? - сказала она тихо и закрыла лицо руками.

- Нет! - сказал он, воспламеняясь все более и более. - Мне не стыдно, а хорошо теперь. Я высказал вам себя. Вы сами чувствуете, что я говорю правду. Я разгадал вашу жизнь. Так не пеняйте же на судьбу... Знайте, что был человек, который полюбил вас всеми силами своего существования, без замыслов и видов. Их и быть не может... Мы сейчас расстанемся. Что за беда, что знакомство наше продолжалось одну минуту, и минута - хорошее дело. Я люблю вас, как не думал, что могу любить. Это пройдет, может быть, завтра; но нынче я хорошо вас люблю: вы олицетворяете для меня лучшую мечту моей молодости. Такую женщину, как вы, я всегда надеялся встретить. Судьба нам не назначила быть вместе, но пусть же останется нам сознание, что, когда мы сошлись случайно, мы поняли друг друга, оценили друг друга, и по крайней мере нам будет теплое задушевное воспоминание: вам - в скучной вашей деревне, мне - в скучной моей светской жизни.

Так продолжал он говорить молодо и пламенно, и она, вперив в него свои черные глаза, слушала его с увлечением, как бы прислушивалась к чему-то давно желанному и ожидаемому. Мало-помалу и она разговорилась; но что было говорено тогда - да будет тайной.

На бумаге оно выйдет вяло и безжизненно. В подобных разговорах то и прекрасно, что

невыразимо или понятно только для двоих.

Несколько часов пролетели невидимым мгновением.

Бессознательно предалась она светлому восторгу, расточила богатую сокровищницу долго замкнутого сердца, и, верно, никогда не была она так хороша, как в эту минуту. Он невольно взял ее руку, и она не думала уже ее отнимать. Изба казалась им раем.

Вдруг свеча, зашипев, погасла, и бледный беловатый луч прорезался в комнату из окна.

- Светает, - сказала она. - Мы скоро расстанемся!

Дайте мне что-нибудь на память от себя.

Он поспешно выдернул из бумажника листок бумаги, взял карандаш и призадумался.

- Я не писатель, - сказал он, - другой написал бы вам стихи.

- Напишите что-нибудь.

Он написал: "1849 год, ночь с 12 на 13-е января", а потом прибавил решительно: "Лучшая ночь в моей жизни". Потом, сняв с руки кольцо, он подал ей кольцо и бумажку. Она поспешно их спрятала.

- Кольца я вам не могу дать, - сказала она, нахмурившись. - У меня одно только кольцо - венчальное; а из Воронежа я вам пришлю образ. Он принесет вам счастье; он напомнит вам о нашей встрече и о той, которая вас будет вечно помнить и любить. Вы - один человек, который ее понял; вы, разумеется, рассеетесь и меня забудете, но я буду вас вечно помнить. Я помолюсь за вас.

Она крепко пожала ему руку.

В эту минуту смотритель вошел в комнату.

- Утихает, - сказал он, потирая руки.

Вдруг все зашевелились. Старуха заохала, девочка завизжала, купцы бросились к повозкам. Из сарая начали выводить лошадей; принесли самовар. Через час времени все путники были готовы уже к дороге. Офицер посадил старуху в повозку и поцеловал руку у внучки.

На глазах ее навернулись слезы...

- Прощайте, - сказала она грустно, - навсегда...

Через четверть часа лихая тройка во весь опор обогнала две степные повозки. Офицер поклонился. Тяжко ему было. Из спущенного окна показалось бледное лицо, сверкнули черные глаза, махнул белый платок. Ямщик приободрился, приударил и покатил еще быстрее. Офицер обернулся и долго смотрел, как две повозки малопомалу отдалялись, потом стали подвижными точками, потом пропали из виду. Он горестно вздохнул и завернулся в шубу. Снег хрустел под полозьями. Ямщик покрикивал. Во все стороны расстилалась снежная равнина, но между небом и степью уж обозначалась резкая полоса. Ветер значительно утихал. Оловянное солнце вырезывалось пятном на сером туманном небосклоне.

Метель кончилась.

МЕТЕЛЬ

Впервые напечатано: "Ведомости московской городской полиции", 1849, NoNo 31 - 32.

Стр. 439. Я не посмел изменить принятого им правописания. - Соллогуб не точен. Из двух форм написания слова "метель" (через "е" и через "я") нормированной считалась первая, что было отражено в Словаре Академии Российской уже в 1816 году. Пушкин употреблял обе формы, преимущественно "мятель", так, в частности, он писал это слово в "Повестях Белкина". Форма "метель" появилась лишь в печатном издании, вероятно, по инициативе П. А. Плетнева. Таким образом, в написании через "е" нет ничего специфически пушкинского.

Граф П. В. Орлов-Денисов - светский знакомый Соллогуба.

Стр. 445. Партикулярный - штатский.

Стр. 449. Я знаю, вы смеетесь над уездными дамами, и Пушкин над ними смеялся... - У Пушкина есть ряд иронических выпадов против провинциальных дам (например, в "Графе Нулине"), в целом его отношение к этой социальной группе было сложнее, содержало и положительные начала ("Евгений Онегин", "Роман в письмах"), в частности, и те, на которых строит характер своей героини Соллогуб. Отсылка к Пушкину замыкает намеченный заглавием ряд реминисценций (описание метели, постоянного двора, мотив случайной встречи и др.) и еще раз утверждает принцип следования поэтике Пушкина как норму.